

Говард Филлипс Лавкрафт

Праздник

(The Festival)

*Efficiat Daemones, ut quae non sunt, sic tamen quasi
sint, conspicienda hominibus exhibeant.*

Лактанций

Мой дом остался далеко позади, и я весь был во власти чар восточного моря. Уже стемнело, когда я услышал шум прибоя и понял, что море находится вон за тем холмом с прихотливыми силуэтами ив на фоне прояснившегося неба и первых ночных звезд. Я должен был исполнить завет отцов и потому бодро шагал по дороге, покрытой тонким слоем свежесвыпавшего снега, вверх по склону холма — в ту сторону, где Альдебаран мерцал среди ветвей. Я спешил в старинный город на берегу моря, где ни разу прежде не бывал, хотя часто грезил о нем.

Это было в дни праздника, который люди называют Рождеством, в глубине души зная, что он древнее Вифлеема и Вавилона, древнее Мемфиса и самого человечества. Именно в эти дни я добрался до старинного города на берегу моря, где некогда жил мой народ — жил и отмечал этот праздник еще в те незапамятные времена, когда он был запрещен. Несмотря на запрет, из поколения в поколение передавался наказ: отмечать праздник каждые сто лет, дабы не угасала память о первоначальных тайнах. Народ мой был очень древним, он был древним уже триста лет назад, когда в этих краях появились первые переселенцы. Предки мои были чужими в здешних местах, ибо пришли сюда из южных стран, где в садах пьяняще благоухают орхидеи. Это были темноволосые нелюдимые люди, говорившие на непонятном языке и лишь постепенно освоившие наречие местных голубоглазых рыбаков. Потом мой народ разбросало по свету, и объединяли его одни лишь ритуалы, тайный смысл которых навеки утерян для ныне живущих. Я был единственным, кто согласно завету в эту ночь вернулся в старинный рыбацкий поселок, ибо только бедные и одинокие умеют помнить.

Я достиг вершины холма и в наступивших сумерках разглядел у его подножия Кингспорт: заснеженный город с затейливыми флюгерами и шпилями, старомодными крышами и дымниками на печных трубах, причалами и мостками, деревьями и погостами; с бесчисленными лабиринтами улочек, узких, извилистых и крутых, сбегających с крутого холма в центре города, увенчанного церковью, которую пощадило время; с невообразимой мешаниной домов колониального периода, разбросанных тут и там и громоздящихся под разными углами и на разных уровнях, словно кубики, раскиданные рукой младенца. Древность парила на седых крылах над посеребренными морозом кровлями. Один за другим в окнах вспыхивали огни, вместе с Орионом и бессмертными звездами освещая холодные сумерки. Волны прибоя мерно ударяли в полусгнившие пристани — там затаилось море, вечное загадочное море, откуда некогда вышел мой народ.

Рядом, чуть в стороне от дороги, возвышался еще один холм, лишенный растительности и открытый всем ветрам. На нем располагалось кладбище — я понял это, когда, приглядевшись, увидел черные надгробия. Они зловеще вырисовывались в темноте, словно полусгнившие ногти гигантского мертвеца. Дорога выглядела заброшенной, снег на ней был нетронут. Временами мне чудилось, будто издалека доносится какой-то звук, жуткий и размеренный, напоминающий скрип виселицы на ветру. В 1692 году в этих местах были повешены по обвинению в колдовстве четверо моих родичей, но точное место казни мне было неизвестно.

Спускаясь по дороге, прихотливо петлявшей по склону, я изо всех сил прислушивался, пытаюсь уловить оживленный гомон, столь обычный для таких небольших городков в вечерние часы, но не расслышал ни звука. Тогда, подумав о том, что на дворе Рождество, я решил, что освященные веками традиции здешних пуритан вполне могут отличаться от общепринятых и, вероятно, предполагают тихую набожную молитву в кругу домочадцев. После этого я больше не прислушивался и не искал взглядом попутчиков, но спокойно продолжал свой путь мимо тускло освещенных фермерских домов и погруженных во мрак каменных оград — туда, где вывески на старинных лавках и тавернах для моряков поскрипывали на соленом морском ветру, где вычурные кольца на дверях зданий поблескивали при свете крошечных занавешенных окон, выходящих на безлюдные немощные улочки.

Я заранее ознакомился с планом города и знал, как пройти к дому, где меня должны были признать за своего и оказать мне радушный прием — деревенские обычаи живут долго. Уверенным шагом я проследовал по Бэк-стрит к зданию окружного суда, пересек по свежему снегу единственную в городе плиточную мостовую и очутился за Маркет-хаусом, где начиналась улица Грин-лейн. Планы города, изученные мною, были составлены очень давно, однако с тех пор Кингспорт ничуть не изменился, и я не испытывал никаких затруднений, выбирая дорогу. Правда, в Аркхеме мне сказали, что здесь ходят трамваи, но я не видел над собой проводов; что же касается рельсов, то их все равно не было бы видно из-под снега. Впрочем, я не пожалел, что решил идти пешком — с вершины холма заснеженный городок выглядел таким привлекательным! Чем ближе я подходил к цели, тем непреодолимее становилось мое желание постучать в двери дома, где жили мои соплеменники, седьмого по счету дома на левой стороне Грин-лейн, со старомодной остроконечной крышей и выступающим вторым этажом, как строили до 1650 года.

Когда я подошел к нему, внутри горел свет. Судя по ромбовидным окнам, дом поддерживался в состоянии, весьма близком к первоначальному. Верхняя его часть выдавалась вперед, нависая над узкой улочкой и едва не касаясь выступающего верхнего этажа дома напротив, так что я оказался как бы в туннеле. Низкий каменный порог был полностью очищен от снега. Тротуара я не заметил; входные двери многих соседних домов располагались высоко над землей, к каждой из них вели лестницы в два пролета с железными перилами. Все это выглядело довольно необычно: я не был уроженцем Новой Англии и никогда не видел ничего подобного. В целом мне здесь понравилось, и, вероятно, я бы даже нашел окружающий вид приятным для глаза, если бы еще по улицам ходили люди, если бы на снегу виднелись следы, если бы хоть на некоторых окнах были подняты шторы.

Взявшись за железное дверное кольцо, я ощутил какой-то безотчетный страх. Ощущение это вызревало во мне давно; причинами его могли служить и необычность моего положения, и промозглые сумерки, и непонятная тишина, царившая в этом старинном городе с его странными обычаями. И когда мой стук вызвал отклик, я струсил окончательно — ибо перед тем, как дверь, скрипя, отворилась, я не услышал ничего похожего на звуки приближающихся шагов. Впрочем, испуг мой длился недолго: у открывшего мне дверь старика в домашнем халате и шлепанцах было доброе лицо, и это меня несколько успокоило. В руках он держал перо и восковую табличку, на которой тут же нацарапал витиеватое, в старинном стиле приветствие, предварительно показав мне жестами, что он немой.

Поманив меня за собою, хозяин провел меня в освещенную свечами комнатку с массивными открытыми стропилами на низком потолке, скудно обставленную скромной, потемневшей от времени мебелью семнадцатого века. Вся комната была олицетворением прошлого; ни одна деталь не была упущена. Здесь была и разверстая пасть очага, и прялка, у которой спиной ко мне сидела согбенная старушка в халате и чепце. Несмотря на праздничный день, она была занята работой. В воздухе ощущалась какая-то непонятная сырость, и я подивился тому, что в очаге не горит огонь. Слева от меня, напротив ряда занавешенных окон, стояла скамья, повернутая ко мне своей высокой спинкой, и мне показалось, что на ней кто-то сидит, однако я не был в этом уверен. Обстановка подействовала на меня угнетающе, и я вновь ощутил давешний безотчетный страх. Более того, страх этот усилился, и причиной этому было именно то, что лишь недавно его заглушило: я имею в виду доброе лицо старика, ибо чем дольше я в него всматривался, тем более меня ужасала сама доброта его. Неподвижные, застывшие зрачки, кожа белая, как воск... Внезапно я понял, что это вовсе не лицо, а маска, дьявольски искусная маска. И еще меня поразило то, что старик был в перчатках. Трясущимися руками он снова нацарапал что-то на табличке. Я прочел: мне вежливо предлагалось немного подождать, прежде чем меня отведут к месту празднества.

Указав на стул, стол и стопку книг, хозяин удалился. Усевшись, я принялся рассматривать книги; это были старинные, почтенные фолианты, но притом самого шокирующего свойства: «Чудеса науки» Морристера,^[3] «Saducismus Triumphatus» Джозефа Глэнвилла,^[4] изданный в 1681 году, «Демонолатрия» Ремигия,^[5] напечатанная в 1595 году в Лионе, и, наконец, самый жуткий из вышеперечисленных опусов, чудовищный и непотребный «Некрономикон» безумного араба Абдула Альхазреда в запрещенном латинском переводе Олауса Вормия — я ни разу не видел этой книги, но слышал о ней самые ужасные вещи. Со мной не вступали в разговор, тишина нарушалась лишь скрипом уличных вывесок, колеблемых ветром, да мерным жужжанием прялки, у которой старушка в чепце все пряла и пряла свою бесконечную пряжу. И комната, и книги, и хозяйева дома — словом, все вокруг действовало на меня угнетающе, вселяло безотчетную тревогу, но я должен был исполнить завет отцов и принять участие в этих странных торжествах, с какими бы неожиданностями мне ни пришлось столкнуться. Поэтому я взял себя в руки и принялся за чтение. Вскоре моим существом всецело, до дрожи, завладело одно место в этом проклятом «Некрономиконе», где высказывалась некая мысль и приводилась некая легенда — и та и другая настолько жуткие, что противоречили здравому рассудку и просто не укладывались в голове. Однако я бросил книгу, не дочитав до конца страницы, поскольку мне послышалось, как закрывается одно

из окон напротив скамьи — получается, что перед этим оно было тихо отворено? Затем до меня донесся какой-то шум, совсем не похожий на звук хозяйкиной прялки. Впрочем, здесь я мог и ошибиться, потому что старуха работала очень энергично, а еще прежде раздался бой старинных часов. Что бы там ни было, но с этого момента у меня пропало ощущение, будто на скамье кто-то сидит, и я снова погрузился в чтение, трепеща над каждым словом, а потом в комнату вернулся хозяин. Он был одет в широкую старинную мантию и опустил на ту самую скамью, так что теперь я не мог его видеть. Да, ожидание было не из приятных, и нечестивая книга в моих руках делала его неприятным вдвойне. Но вот пробило одиннадцать, старик встал, скользнул к громоздкому резному сундуку в углу комнаты и вынул из него два плаща с капюшонами. Один из них он надел на себя, другим облек свою хозяйку, которая наконец-то оставила свое монотонное занятие. Затем они оба направились к выходу; старуха ковыляла, прихрамывая, а хозяин забрал у меня книгу, дал мне знак следовать за ним и натянул капюшон на свое неподвижное лицо-маску.

В то время как мы шли по безлунным извилистым улочкам этого невообразимо древнего города, в занавешенных окошках один за другим гасли огни, и Сириус мрачно взирал с небес на фигуры в рясах с капюшонами, которые безмолвно выходили из всех домов. Эти жуткие процессии шествовали по улицам города мимо скрипучих вывесок и допотопных фронтонов, соломенных крыш и ромбовидных окошек; ползли по крутым переулкам с навалившимися друг на друга скособоченными и полуразрушенными зданиями, пробирались через проходные дворы; и многочисленные фонари, качаясь, походили на леденящие душу пьяные созвездия.

Среди этих бесшумных толп двигался и я вслед за своим безмолвным вожатым; в мои бока упирались локти, казавшиеся неестественно мягкими; меня теснили тела, на удивление податливые, но я так и не разглядел ни одного лица, не услышал ни единого звука. Все выше и выше всходили кошмарные вереницы, и тут я увидел, что все они сливаются в один грандиозный широкий поток в том самом месте на вершине горы в центре города, где сходились, как в фокусе, все эти улицы и где стояла величественная белокаменная церковь. Я уже видел ее с гребня холма над Кингспортом в сгущающихся сумерках и, помнится, затрепетал, когда мне показалось, будто Альдебаран на мгновение застыл на ее призрачном шпиле.

Церковь стояла в центре пустыря, часть которого была определена под кладбище, а другая часть представляла собой наполовину замощенную площадь, открытую всем ветрам и потому почти лишенную снежного покрова. Площадь окружали невообразимо древние дома с остроконечными крышами и нависающими фронтонами. Блуждающие огоньки танцевали над могилами, освещая унылые надгробия, которые, как ни странно, не отбрасывали теней. Глядя с вершины холма поверх кладбища, где ничто не загораживало обзора, я различал отблеск звезд на водной глади в бухте, в то время как сам город был погружен во мрак. Лишь изредка я замечал, как то один, то другой фонарь приближается со стороны города по одной из кривых улочек, чтобы присоединиться к толпе, которая между тем бесшумно входила в храм. Я стоял и ждал, пока все не скроются в черном проеме двери, в том числе и отставшие. Старик тянул меня за рукав, но я твердо решил войти последним. Уже переступая порог храма, в беспросветном мраке которого скрылись толпы, я обернулся, чтобы кинуть прощальный взгляд туда, где

кладбищенские огоньки заливали тусклым светом мостовую. И, обернувшись, я содрогнулся. Как я уже говорил, почти весь снег был сметен ветром, но несколько белых пятен осталось на дорожке перед входом; так вот, обернувшись, я не различил на снегу ни единого отпечатка чьей-либо ступни, чужой или моей собственной.

Несмотря на множество внесенных фонарей, церковь была едва освещена, поскольку большая часть толпы уже скрылась. Отставшие спешно двигались по проходу между скамьями с высокими спинками и исчезали в темном провале люка, зиявшем прямо перед кафедрой. Вслед за ними и я спустился в черное душное подземелье. Хвост этой мрачной колонны жутковато извивался, а когда я увидел, как он вползает в старый склеп, зрелище это показалось мне просто невыносимым. Очутившись внутри, я заметил, что процессия устремляется в какое-то отверстие в полу склепа, и через несколько секунд уже спускался вместе со всеми по грубо обтесанным ступеням узкой извилистой лестницы. Бесконечной спиралью она уходила в самые недра горы, извиваясь меж стен из оштукатуренных каменных блоков, сочащихся влагой. Это был долгий, утомительно долгий и безмолвный спуск, и через некоторое время я заметил, что стены и ступени приобретают совершенно другой вид, как если бы они были высечены в сплошной скале. Более всего меня угнетало то, что бесчисленные шаги не производили ни звука и не отдавались эхом. Казалось, прошла уже целая вечность, а мы все спускались и спускались, и тут мое внимание привлекли боковые коридоры или, скорее, ходы, ведущие из неведомых уголков вековечного мрака в эту inferнальную шахту, призванную служить сценой для ночной мистерии. Ходов становилось все больше — они были бесчисленны, эти нечестивые пугающие катакомбы. Тяжелый запах гниения, исходящий из них, становился все въедливее и невыносимее. Я не сомневался в том, что мы прошли всю гору сверху донизу и теперь находимся ниже уровня самого города, и не мог не содрогнуться при мысли о том, насколько древним должен быть этот город, если даже самые недра его источены червями зла.

Потом впереди забрезжил свет, тусклый и зловещий, и вскоре послышался тихий плеск подземных вод. И вот уже в который раз меня пробрала дрожь — слишком уж не по душе мне было все, что принесла с собой эта ночь, и я горько жалел о том, что послушался зова предков и решил принять участие в этом первобытном ритуале. По мере того как лестница и коридор становились шире, я все яснее различал новый звук — жалобную и жалкую пародию на флейту, и вдруг предо мной развернулась грандиозная панорама подземного мира: обширное болотистое побережье, озаряемое столпом огня нездорового зеленоватого оттенка, извергающимся из недр его, и омываемое широкой маслянистой рекой, струящейся из каких-то невообразимых бездн, чтобы слиться с бездоннейшими из пучин первозданного океана.

Мне стало дурно; я задыхался, глядя на эту богомерзкую заплесневелую преисподнюю с ее вредоносным пламенем и вязкими водами, в то время как люди в мантиях выстраивались в полукруг лицом к пылающему столпу. Начинался рождественский ритуал, который древнее человечества и которому суждено пережить человечество: первобытный ритуал солнцестояния, сулящего победу весны и зелени над зимой и снегом; ритуал огня и обновления, света и музыки. Именно этот ритуал и вершился теперь на моих глазах в адском подземелье. Я наблюдал за тем, как мои спутники поклоняются столпу болезнетворного огня и пригоршнями бросают в воду какую-то

слизистую поросль, сообщающую зеленоватый оттенок болезненно-желтому зареву. И еще я видел, как нечто бесформенное сидело на корточках в стороне от света и пронзительно дудело в свою флейту, и сквозь эти звуки мне слышалось как бы хлопанье крыльев, приближавшееся из зловонной тьмы, непроницаемой для взора. Но более всего меня пугал огненный столп: извергаясь из немыслимых глубин, он не порождал теней, как положено нормальному пламени, зато покрывал мертвые стены тошнотворной и ядовитой зеленой накипью. И все это яростное полыхание не несло в себе ни толики тепла, а только липкий холод смерти и разложения.

Тем временем мой провожатый протиснулся сквозь толпу прямо к тому месту, откуда изрыгалось пламя, обратился лицом к собравшимся и принялся производить размеренные обрядовые жесты. В определенные моменты все низко склонялись, особенно когда он воздевал руки с тем самым ненавистным «Некрономиконом». И я отвечивал поклоны заодно со всеми, ибо был призван на этот праздник заветами своих отцов. Затем старик подал сигнал притаившемуся в полумраке флейтисту, и тот, сменив тональность, заиграл громче и пронзительнее. Кошмар, который за этим последовал, превосходил всякое воображение. При его проявлении я чуть не рухнул на обезображенную лишайником почву, пронзенный страхом не от мира сего, не от мира того и не от мира любого — страхом безумных межзвездных пространств.

Из невообразимой гущи мрака по ту сторону гангренозного дыхания негреющего огня, из сатанинских пространств, где влачит свои волны маслянистая река, неслышно, невидимо и неодолимо, приближалась, ритмично хлопая крыльями, стая неких дрессированных тварей, в уродстве своем недоступных ни охвату незамутненным взором, ни осмыслению неповрежденным рассудком. Какие-то гибриды из ворон, кротов, муравьев, летучих мышей и полуразложившихся людских тел... словом, это было нечто такое, о чем я не могу, да и не хочу вспоминать. Медленно и неуклюже приближались они, частично на своих перепончатых лапах, частично с помощью перепончатых крыльев, и, когда они наконец достигли толпы священнодействующих, те принялись хватать и седлать их — и один за другим уносились прочь вдоль подземной реки в глубины преисподней, в галереи страха, туда, где отравленные ручьи пополняют чудовищные водопады, навеки скрытые от глаз людских.

Старая прядильщица умчалась вместе со всеми, старик же остался, потому что я ответил отказом, когда он подал мне знак оседлать одну из тварей и следовать за остальными. Выпрямившись на нетвердых ногах, я обнаружил, что все исчезли: и люди, и животные, и даже бесформенный флейтист, — и только две крылатые бестии терпеливо ждали неподалеку. Я продолжал упираться, и тогда старец вновь извлек свои перо и дощечку и начертал слова, из коих следовало, что он действительно является полномочным представителем моих отцов, основателей святочного культа на этой древней земле, что имеется распоряжение, в соответствии с которым я должен был сюда вернуться, и что самые главные таинства еще впереди. Почерк его был старомодно затайлив, а в подтверждение своих слов, ибо я по-прежнему пребывал в нерешительности, он вынул откуда-то из многочисленных складок своей просторной мантии перстень с печаткой и часы. На обоих предметах красовался наш фамильный герб. И все же это было негодное доказательство, поскольку из бумаг, имевшихся в

семейном архиве, я знал, что эти самые часы были зарыты в землю вместе с телом моего прапрапрапрадедушки еще в 1698 году.

Тогда старик откинул капюшон, чтобы продемонстрировать наше фамильное сходство, но я лишь пожал плечами, потому что знал: никакое это не лицо, а дьявольски искусная восковая маска. Тем временем порхающие твари стали проявлять признаки беспокойства и рыть когтями землю, поросшую лишайником; старик, похоже, тоже начал терять терпение. Когда одно из существ, устав от ожидания, стало потихоньку пятиться, старик рванулся, чтобы остановить его, и от этого резкого движения восковая маска слетела с того места, где у него должно было находиться лицо. То порождение горячечного бреда, что предстало предо мной в этот миг, загородило мне путь обратно к лестнице, по которой мы сюда спустились, а потому я бросился, не помня себя, в подземную реку, влачащую маслянистые воды свои в неведомые морские гроты; бросился вниз головой в эту зловонную квинтэссенцию подземных ужасов, не дожидаясь того момента, когда мои истощенные вопли навлекли бы на меня все загробные легионы, какие только могли таиться в этих ядовитых безднах.

В больнице, где я очнулся, мне сообщили, что меня обнаружили на рассвете в водах кингспортской гавани, полуокоченевшего, вцепившегося мертвой хваткой в кусок дерева, ниспосланный мне Провидением. По следам на снегу было установлено, что накануне вечером, переходя через гору, я свернул не на ту развилку и упал со скал Оранжевого мыса. Мне нечего было на это возразить — просто нечего, и все: из широких окон больничной палаты открывался вид на море крыш, среди которых старинные составляли лишь какую-нибудь пятую часть; с улиц доносился шум трамваев и автомобилей. Мне клялись, что это Кингспорт, и я согласно кивал. Узнав, что больница расположена по соседству со старым кладбищем на Центральном холме, я впал в истерику, и тогда меня перевезли в больницу Святой Марии в Аркхеме, где я должен был получить более основательный уход. Там мне очень понравилось, тем более что тамошние доктора отличались либеральными взглядами и даже посодействовали мне в получении копии злополучного «Некрономикона» Альхазреда, снятой с оригинала, хранившегося под замком в библиотеке Мискатоникского университета. Поскольку болезнь моя была каким-то образом связана с психозом, мне посоветовали выкинуть из головы всякие навязчивые идеи.

Читая ту чудовищную главу, я трепетал вдвойне, ибо клянусь: содержание ее было мне не в диковинку. Я уже читал ее прежде, что бы там ни показывали следы на снегу, а где я читал ее... об этом лучше не вспоминать. В часы, свободные от сна, нет никого, кто мог бы мне об этом напомнить; зато все сны мои с некоторых пор превратились в кошмары, и причиной тому слова, которые я не смею процитировать. Я могу привести лишь один абзац; вот как он выглядит в моем переводе с неуклюжей вульгарной латыни:

«Нижние из пещер подземных, — писал безумный араб, — недоступны глазу смотрящего, ибо чудеса их непостижимы и устрашающи. Проклята земля, где мертвые мысли оживают в новых причудливых воплощениях; порочен разум, пребывающий вне головы, его носящей. Великую мудрость изрек Ибн Шакабао, сказав: блажен тот погост, где нет колдуна; блажен тот город, чьи колдуны обращены во прах. Ибо древнее поверье

гласит, что душа, проданная дьяволу, не спешит покидать пределы склепа, но питает и научает самого червя грызущего, пока сквозь тлен и разложение не пробьется новая чудовищная жизнь и жалкие поедатели падали не наберутся хитроумия, чтобы вредить, и силы, чтобы губить. Огромные ходы тайно проделываются там, где хватило бы обычных пор земных, и рожденные ползать научаются ходить».

Перевод: Олег Мичковский

1992 год